

**ЧЕЛОВЕК ПРЕСТУПНЫЙ**

КЛАССИКА КРИМИНАЛЬНОЙ  
ПСИХОЛОГИИ

**ГАБРИЭЛЬ  
ТАРД**

**ПРЕСТУПНИК  
И ТОЛПА**



Человек преступный. Классика криминальной психологии

Габриэль Тард

**Преступник и толпа (сборник)**

«Алисторус»

2016

УДК 159.9  
ББК 88.4

**Тард Г.**

Преступник и толпа (сборник) / Г. Тард — «Алисторус»,  
2016 — (Человек преступный. Классика криминальной  
психологии)

ISBN 978-5-906880-43-7

Криминологические труды выдающегося французского психолога и социолога Габриэля Тарда (1843–1904) во многом определили развитие юридической психологии в XX веке. В сборник включены самые известные работы ученого: «Преступник и преступление», «Сравнительная преступность», «Преступная толпа». Как устроен мозг злодея? Как влияет на его поведение окружающая действительность? Как люди реагируют на происходящее на их глазах злодеяние? На какие преступления никогда не пойдет один человек, но с легкостью согласится их множество? Обо всем этом читайте в книге, которую вы держите в руках.

УДК 159.9

ББК 88.4

ISBN 978-5-906880-43-7

© Тард Г., 2016  
© Алисторус, 2016

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Преступник и преступление         | 6  |
| Предисловие к русскому переводу   | 6  |
| Преступник                        | 8  |
| Часть I                           | 8  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

# Габриэль Тард Преступник и толпа

Gabriel Tarde

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

\* \* \*

## Преступник и преступление

### Предисловие к русскому переводу

В одной из своих речей, произнесенной на местном торжестве в небольшом провинциальном городе Сарлат, в котором Тард провел значительную часть своей жизни, он говорил о свободе. Заметив, что есть люди, которые полагают свободу в силе и считают порабощением умаление престижа власти или военное поражение, и что для таких людей существует выбор только между тиранией и рабством, Тард закончил свою речь следующими фразами: «Я вам дам верное определение свободы... Видите ли вы из-за окутавшей вас тьмы, там, вдали, в тумане прошлого, этот тусклый светоч, этот мерцающий огонек, эту маленькую восходящую звезду? Когда-то она уже светила земле. Придет время – она загорится с новой силой, когда мир устанет в погоне за счастьем на всех путях, кроме пути сердца, истомится в поисках социального мира посреди ожесточенной борьбы эгоизма и разнуданности интересов и потеряет веру в нечестивый парадокс, будто без любви можно достигнуть мира, счастья, равенства и свободы!.. Не считайте иллюзией и не принимайте за падающий метеор эту звездочку, эту маленькую небесную лампаду. Не гасите ее, вы – пастухи, рабочие, все обездоленные сего мира! Поверьте мне, свобода – это братство, свобода – это любовь!». Вот слова, которые, быть может, было бы достаточно привести вместо предисловия для того, чтобы дать читателям представление о духовном облике автора, часть сочинения которого предлагается их вниманию. В них, в этих словах, сказался весь Тард: как человек, обладавший большой нравственной чуткостью, подкупающей добротой и необыкновенно привлекательной душевной мягкостью; как поэт, умевший писать только красиво, переплетая свое изложение то лирическими отступлениями, то смелыми, но всегда удачными и художественными образами, и как оригинальный истолкователь той общественной философии, в основе которой лежит оптимистическая вера, что основной социальный закон есть «ассоциация для жизни», а не борьба за жизнь, и что солидарность, а не социальные противоречия, составляет залог прогресса человечества. Тонко чувствующим, гуманным человеком, социологом-оптимистом, поэтом, умеющим каждой мысли придать картинную форму, Тард остается и тогда, когда разрабатывает вопросы, составляющие предмет науки уголовного права.

Среди криминалистов-социологов Тарду принадлежит такое же крупное место, как Ломброзо среди криминалистов-антропологов.

В то время как Ломброзо, который признает Тарда за самого остроумного и самого блестящего критика своих теорий, создал взгляд на преступника как на роковое порождение природы и на этом взгляде построил свое учение о прирожденном типе преступника, Тард видит в преступнике прежде всего профессиональный тип, который находит себе объяснение главным образом в общих законах подражания и приспособления. Человек не рождается преступником, а делается им, сначала поддаваясь заразительной силе примера и затем приспособляясь к тому новому положению, которое создается для него фактом совершенного преступления.

Если Ломброзо обрекает криминалиста на почти безнадежную борьбу с органическими силами природы, то, напротив, у Тарда читатель найдет глубоко оптимистическое убеждение, что цивилизация как «цельная совокупность веры и знания, всех форм труда и власти, всех различных видов инициативы» представляет собой могущественную коалицию против армии преступников.

Обаятельная нравственная личность Тарда выступает в характере тех аргументов, которыми он нередко подкрепляет свои уголовно-правовые теории; эти аргументы – голос сердца, моральное чувство. По взгляду Тарда, необходимым условием ответственности нарушителя

закона является его социальное сходство с окружающей средой, потому что нравственный императив требует для применения наказания установления солидарности в желаниях и убеждениях между преступником и тем обществом, на законы которого он посягнул. Человек, по своеобразному воззрению Тарда, только тогда вполне виновен, когда в глубине души, в силу тех понятий о добре и зле, которые воспитала в нем окружающая среда, он сам осуждает содеянное им. Тард энергично восстает против утилитарных учений о целях наказания. Он думает, что видеть в наказании только процесс элиминации преступника или восстановление нарушенного правопорядка – это значит хотеть, чтобы отношение криминалистов и вместе с ними всего общества к совершенному преступлению имело чисто интеллектуальный характер и было лишено всякой эмоции. По его мнению, криминалисты утилитарного направления забывают, что разум сам по себе инертен, и что только чувство представляет собой двигательную силу человеческой мысли и человеческого общества. Он осуждает смертную казнь, потому что «сердце протестует и восстает против нее». Самым сильным доводом против смертной казни Тард считает не соображение ее бесполезности для общества, а то моральное и эстетическое отвращение, которое она вызывает. «Я долго, – признается Тард, – пытался преодолеть в себе чувство ужаса перед смертной казнью и не мог».

«Преступник» и «Преступление» – две главы из знаменитой книги Тарда «La philosophie pénale». Как и все, что вышло из-под пера Тарда, она написана изящным стилем, богата смелыми образами и переполнена примерами из самых различных областей знания. Словом, ее изложение отличается теми же чертами, которые свойственны всем трудам Тарда, и которые настолько выделяют их из произведений других криминалистов и социологов, что имя их автора нетрудно узнать, не справляясь с подписью. В этом отношении Тард похож на своего славившегося энциклопедическими познаниями предка – каноника Жана Тарда, который однажды, будучи принят вместе с другими духовными лицами римским папой, так удивил последнего своими ответами, что тот, не зная его, воскликнул: «Tu es Tardus aut Diabolus!» («Ты – Тард или сатана!»).

*Н. Полянский*

# Преступник

## Часть I

### 1. Что такое преступник?

Что такое преступник? После смерти великого Ламы тибетские жрецы принимаются за поиски новорожденного, в которого переселилась бессмертная душа Ламы. Они узнают его по некоторым чертам, по верному антропологическому признаку, который, как они уверяют, никогда их не обманывает. Так же поступали и египетские жрецы, чтобы отличить быка Аписа среди всех быков Нильской долины. Для них существовал, как и теперь еще существует для тибетского народа и духовенства, божественный тип.

Таким же образом, на взгляд Ломброзо, существует преступный тип, позволяющий распознать прирожденного преступника. Такова была, по крайней мере, первая мысль Ломброзо, но мы знаем, что, развиваясь, она должна была усложниться, чтобы примениться к противоречащим ей фактам. Что же от нее теперь осталось? По-видимому, немного, но нечто существенное; мы увидим это ниже. Если бы даже эта мысль послужила лишь для выяснения с большей определенностью, чего нет в преступнике, и не дала никаких указаний на то, что же именно он представляет, то и в этом случае она не была бы бесполезна. Но она сделала больше; она собрала любопытные наблюдения, позднее, без сомнения, принесшие пользу; неизгладимыми штрихами она обрисовала психологию преступного типа и подготовила путь к его социологическому объяснению.

Прежде всего благодаря частичной удаче своей попытки школа Ломброзо окончательно доказала нам, что преступника, как естественной разновидности человеческого рода, не существует; иными словами, он не соответствует никакой естественной идее в платоновском или научном смысле слова. Китаец, негр, монгол отвечают реальным схемам этого рода: соедините по способу Гальтона 10 или 12 фотографий китайцев и вы получите родовой портрет, где застусевавшимися особенностями отдельных физиономий проявляются только их общие черты, с удивительной рельефностью, так сказать, в живой абстракции, в индивидуальном воплощении идеального типа, от которого отдельные субъекты в большей или меньшей степени уклоняются. Этот портрет-тип имеет одну особенность: он улучшает то, что комбинирует, и объясняет то, что резюмирует. Прodelайте то же самое с 20, 30 другими китайцами – новый синтетический портрет будет походить на предыдущий еще больше, чем собранные фотографии походят одна на другую.

Попробуйте теперь фотографически «интегрировать» тем же способом несколько сотен фотографий преступников, наполняющих альбом, приложенный к французскому переводу «Преступный человек». Это, разумеется, возможно; способ Гальтона всегда должен дать известный результат на том же основании, на каком повторяющееся созерцание внешних предметов и скопление воспоминаний всегда должны приводить человеческий разум к общим идеям. Только между искусственным и насильственным соединением разнородных портретов, которое мы можем произвести в последнем случае, и взаимным слиянием портретов однородных, которое мы производили раньше, существует такое же различие, как между обобщением чисто словесным и обобщением, построенным на природе вещей. Мы заметили бы то же самое, оперируя над различными группами этого альбома отдельно; сколько групп, столько и результатов, которые глубоко различались бы между собой и отдельными портретами, насильственно собранными и искусственно скомбинированными в них. Можно ли, по

крайней мере, надеяться, что, фотографируя отдельно группы преступников, принадлежащих к одной и той же категории, – ворующих при помощи подобранных ключей (*caroubleurs*), опустошающих чужие квартиры (*cambrio-leurs*), убийц (*escarpes*), мошенников, насильников – мы будем иметь большой успех? Отнюдь нет. Всякая нация, всякая раса имеет своих мошенников, своих воров, своих убийц с характеризующими ее антропологическими чертами. Известные социальные условия, через посредство некоторых мозговых особенностей, слишком глубоко скрытых, чтобы проявиться анатомически извне, создают преступников всякого рода с одним и тем же физическим типом. Существуют не типы, а один только преступный тип в ломбозовском смысле слова; и Марро (Магго), когда он пробует заместить здесь единственное число множественным, обнаруживает не меньшую склонность к гаданиям и не более основателен, чем его учитель. Одно из двух: или преступник физически, если не психологически, нормален, и в этом случае он обладает типом своей страны, или он ненормален, но тогда у него вовсе нет типа, и он характеризуется преимущественно отсутствием типичности. Но говорить, что преступник – аномалия, и что он в то же время соответствует естественному типу, – это значит противоречить самому себе. Есть и другое скрытое противоречие в этом взгляде: он считает общественную жизнь до такой степени присущей человеку, что антисоциальным может быть лишь субъект, утративший человеческий образ, и вместе с тем допускает, что природа тратит часть своего материала на создание существа, столь ей противного.

По Топинарду (Topinard), преступник, если только он не больной, является индивидуумом совершенно нормальным, по крайней мере в физическом отношении. Он находит, что коллекция портретов, собранных Ломброзо, напоминает ему фотографические альбомы его друзей. «За исключением грязи, неряшливости, усталости, – говорит он, – и зачастую впечатления лишений на лице, голова мошенника в общем походит на голову честного человека». Я не пойду так далеко. Видок (Vidocq) тоже совсем не придерживался этого взгляда, как и большая часть ловких полицейских сыщиков. Правда, Максим де Камп передает отчасти те же свои впечатления. «Когда видишь этих людей вблизи, – говорит он о преступниках, – разговариваешь с ними и знаешь их прошлое, то поражаешься, видя, как их лица похожи на лица других людей». Но через несколько страниц дальше, по поводу одного разбойника самого худшего сорта, грабившего по большим дорогам, он пишет: «Я имел случай его видеть; он очень высок, и его сила, должно быть, была колоссальна; его могучая нижняя челюсть, широкий рот, почти без губ, покатый лоб и чрезвычайно подвижные глаза придают ему сходство с огромным шимпанзе, сходство, которое усиливается еще более несоразмерной длиной его рук». Ломброзо не мог бы выразиться лучше. Это одна из тех встреч, далеко, впрочем, не редких, которые дают, по-видимому, некоторую опору для атавистического объяснения преступника. Их, однако, далеко не достаточно для ее прочного обоснования. Ведь тот же обезьянообразный тип, так скомпрометированный в данном случае, служил иногда оболочкой для замечательных личностей высокой нравственности. Роберт Брюс (Bruce), освободитель Шотландии<sup>1</sup>, обладал, как известно, черепом неандертальского человека, наиболее близкого к обезьянам из людей доисторического периода<sup>2</sup>.

Преступление может быть чудовищностью с социальной, но не с индивидуальной, органической точки зрения, потому что оно есть полный триумф эгоизма, освобождение организма от узды, налагаемой на него обществом. Настоящий прирожденный преступник мог бы быть только великолепным животным, видным образчиком своей расы. Разве тираны и артисты

<sup>1</sup> De Quatrefages в «Hommes fossiles Hommes sauvages» приводит много других фактов в том же роде.

<sup>2</sup> В полной глубокого содержания книге (Les criminels. Doin, 1889) доктор Корр (Corre), как мне кажется, благоразумно избежал двух противоположных крайностей, только что указанных мной. С одной стороны, полемизируя с преувеличениями итальянской школы, он вместе с французской школой признает перевес социальных причин преступления; но, с другой стороны, он умеет отдавать должное предполагаемому преступному типу, разумея под этим выражением профессиональный тип преступника. В общем он присоединяется к точке зрения Лакассана (Lacassagne).

эпохи Возрождения в Италии, столь же склонные совершать убийства, как и славные деяния и величайшие произведения искусства, были чудовищами? Они, наверное, не были чудовищами в физическом смысле и едва ли были ими в смысле социальном. Если социальный характер этой исторической фазы заключался, как доказывает Буркгардт (Burckardt), в расцвете индивидуализма, то для нее неизбежно было стать богатой проявлениями преступности. Борджиа вовсе не были исключениями для своей эпохи. Та же бессовестность и отсутствие нравственного чувства характеризовали всех итальянских принцев XIV и XV столетий, родившихся от преступления, живущих преступлением и умирающих, как только они переставали быть преступниками. Преступление скрывали они под маской наказания, они убивали из мести, ради устрашения. Преступление, кроме того, было для них правительственной необходимостью, как правительство для их народа было необходимым условием порядка и существования.

В этом великолепном праздничном расцвете искусств преступление имело свое место, и притом почетное. Искусство и преступление были связаны одно с другим, как жемчуг, вделанный в кинжал.

Вот что и должно было убить в самом расцвете эту прекрасную эстетическую цивилизацию. Потому что цивилизация, прославляющая преступника, не более жизнеспособна, чем та, которая бросает в ряды преступников честнейших людей, – зрелище, столь частое во времена революции. Преступник – это человек, которого общество, если оно жизнеспособно и правильно организовано, вынуждено бывает удалять из своей среды. Преступник, правду говоря, – продукт столько же социальный, сколько и естественный; он, если мне позволят так выразиться, социальный экскремент. И вот почему в высшей степени интересно изучить ближе, по отношению к каждой эпохе и стране, какого рода люди отправляются на каторгу и в тюрьмы, работают на галерах и поднимаются на эшафот. Когда состав этого разряда людей начинает изменяться, то это всегда бывает очень важным симптомом. Если общество отбрасывает превосходные элементы, которых оно не умеет использовать, – протестанты при Людовике XIV, «аристократы» в эпоху террора – оно страдает опасной болезнью, подобно диабету, и по аналогичным, в сущности, причинам. В каком обществе нельзя найти в различной степени этого ослабления? В идеале, общество должно было бы выбрасывать из своей среды лишь отъявленных негодяев, индивидуумов, абсолютно не поддающихся ни ассимиляции, ни дисциплине. Нужно отдать справедливость нашей современной Европе в том, что она делает крупные шаги к этой цели; население ее тюрем составляют действительно все более и более отвратительные отбросы ее сел и городов. Но до совершенства еще далеко. Если бы даже существовал преступный тип, то он, будучи подвержен изменениям и метаморфозам в зависимости от эпохи и места, был бы далеко не тождественным самому себе. Несколько черепов, несколько мозгов убийц, взвешенных и измеренных в течение нашей эпохи, – все это прекрасно; но подвергали ли тому же антропологическому исследованию тысячи воров, которых вешали ежегодно на английских виселицах еще только полвека тому назад; казненных на площади Montfaucon трупы, качавшиеся по ветру против ворот феодальных замков, на всех вершинах, перед входами во все средневековые города; 20 000 еретиков и колдунов, сожженных в течение восьми лет Торквемадой; римлян, приговоренных к растерзанию зверями или к играм в цирке; египтян, приговоренных к работам в рудниках или пирамидах? Все эти бесчеловечные пираты, разорявшие все на пространстве Средиземного моря до конца последнего столетия; все эти пройдохи, приводившие в отчаяние Францию во время и после Столетней войны, – кто сообщит нам о форме их черепов и об их мозговых и телесных аномалиях, если эти аномалии были? Кто проверит на них несомненность существующих или предполагаемых типов, присущих, говорят нам, злодеям всякой расы и всякой эпохи?

## 2. «Естественные» и прирожденные преступники

Только что сделанное мною замечание содержит в себе признание, что действительно существует известное количество преступников, в преступности которых нет ничего условного.

Следует ли подразумевать под настоящими преступниками тех, которые были бы таковыми во всяком обществе, какое мы можем себе представить? Нет, таких, наверное, не существует. В таком случае не следует ли подразумевать здесь таких, которые остались бы преступниками во всяком прочно устроенном обществе? Может быть. Но объяснимся яснее. Я соглашаюсь, что существуют формы преступности, несовместимые с устоями жизни какого-нибудь народа, таковы убийство и воровство, совершенные без считающихся законными оснований, в ущерб общественному или считающемуся таковым благу. Но я положительно отрицаю, что существуют люди, которые во всяких социальных условиях какой бы то ни было нации и в какую бы то ни было эпоху были бы убийцами или ворами. Будем считать, если угодно, преступлениями абсолютными или, по выражению Гарофало, естественными только убийство и воровство, оставив в стороне не только преступления против нравственности, адюльтер и даже насилие, допускавшиеся у первобытных народов, но и аборт и детоубийство, которые некоторые нации причисляли к разряду похвальных поступков. Следует ли из этого, что все наши убийцы и неисправимые воры отмечены печатью абсолютной преступности, и что только они одни ею отмечены? Ничуть. Ни то, ни другое из этих двух положений нам не кажется верным. С одной стороны, многие из наших негодяев и мошенников никогда не убили бы и не украли, если бы они родились богатыми, если бы не выпал им на долю печальный жребий родиться и воспитаться в грязном предместье и подвергаться там влиянию развращенных товарищей. И здесь вовсе не требуется строить какие-нибудь иллюзии насчет жестокости преступления. Когда представляешь себе какого-нибудь Пранцини, задушившего женщину, с которой он только что провел ночь, затем служанку и ее ребенка, то кажется, что имеешь дело с существом, по преимуществу склонным к разрушению, рожденным для убийства, как Моцарт для музыки. Но многочисленные казаки и пруссаки, в 1814 году насилующие женщин и затем резавшие их перед их связанными мужьями, были честными гражданами в своих деревнях, где они никогда не совершали ни малейшего проступка, и не один из них заслужил на войне медаль за отличие<sup>3</sup>.

Возможно, что в известных социальных условиях даже Пранцини мог бы стать полезным или, по крайней мере, не совершил бы ни воровства, ни убийства, хотя его развращенная натура, несомненно, толкала бы его на другого рода преступления, но на преступления все же относительные, каковы адюльтер и насилие. С другой стороны, как следует из этого последнего предположения, можно допустить, что среди индивидуумов, преследуемых нашими судами даже за самые относительные преступления, за браконьерство или за контрабанду, есть действительно очень опасные люди, иногда более опасные, чем многие разбойники Сицилии и Корсики.

Отсюда следует, что «естественное преступление» и прирожденная преступность – две вещи разные, и что первое не может служить объяснением для второй. Если существуют – как мы думаем, не будучи в состоянии этого доказать, – натуры от природы антисоциальные, то есть основания предполагать, что их прирожденная преступность в другие времена, в другой среде и при других условиях их жизни могла проявиться в формах, очень резко отличающих ее от тех, в которых она проявилась перед нашими глазами. Таков диффаматор наших дней,

---

<sup>3</sup> Я совсем не хочу ставить их на одну доску с Пранцини. Огромная разница заключается в том, что Пранцини действовал один, а они взаимно заражали друг друга примером. Следующая глава покажет, насколько глубоко это различие.

который в Средние века был бы богохульником, таков расстрелянный за мятеж и казнь заложников при коммуне, который был бы сожжен как еретик во времена инквизиции. И в то же время есть ли преступление более относительное, более условное, чем богохульство и ересь? В них столько же преступного, сколько болезненности и невроза, этих патологических протеев, видоизменения которых бесконечны.

Существует лишь очень немного людей, которые всегда и везде совершали бы преступления, естественные или нет, как лишь очень немногие никогда и нигде не поддались бы искушению согрешить. Огромное большинство состоит из лиц, остающихся честными по милости судьбы, или из таких, кого толкнуло на преступление несчастное стечение обстоятельств. Не менее справедливо и то, что преступность свойственна одним совершенно так же, как честность другим, потому что и та, и другая вытекают из природы человека, которая обуславливает или не обуславливает преступление, смотря по тому, при каких условиях она развивается и проявляется вовне, постепенно выясняясь для самого индивидуума и для окружающих его.

Теперь, когда место расчищено, спросим себя снова, существуют ли внешние признаки, позволяющие распознать и определить абсолютную преступность? Я отвечаю, что не открыто еще ни одного сколько-нибудь определенного признака, как не удалось еще открыть внешних признаков непоколебимой честности. Если первая узнается по тяжелой нижней челюсти, покату лбу, редкой бороде, способности владеть обеими руками одинаково, длине руки, пониженной чувствительности, то вторая должна бы выразиться в небольшом объеме челюстей, прямом лбе, густой бороде, в заметном и определенном превосходстве развития правой стороны над левой, в коротких руках, повышенной чувствительности при осязании... Так ли это? Пытался ли кто это проверить?

Я не хочу отрицать этим возможной связи наклонностей характера с известными анатомическими или, скорее, гистологическими особенностями мозга и всего «нервного ствола», ни даже более сомнительной связи этих особенностей с взаимоотношением костей и мускулов, которую возможно было бы точно определить. Но я а priori оспариваю, что наклонности характера, которые ведут к преступлению и даже необходимо должны к нему привести, могли бы быть связаны с одним и тем же анатомическим признаком. Потому что преступление есть результат скрещивания внутренних путей, идущих от самых противоположных точек; глубокая антисоциальность, отличающая прирожденного преступника, происходит часто от безмерной гордости, которая делает его жестоко мстительным, как на Корсике, Сицилии, Испании и среди большей части благородных первобытных рас, частью от неизлечимой лени, которая, в связи с самыми разнообразными пороками: распутством, честолюбием, страстью к игре, – толкает на убийство из корысти деклассированных или дегенератов одряхлевших рас. Здесь должно быть не незначительное, но, наоборот, очень большое количество телесных признаков, часто совершенно противоположных один другому, которые для проницательного взгляда обнаружили бы наличие преступных наклонностей. Опыт подтверждает это рассуждение. Сколько антропологов, столько и различных преступных типов. Марро не соглашается с Ломброзо, Ломброзо – сам с собой.

Например, «объем черепа по Бордые (Bordier), Гегеру (Heger) и Даллеманю (Dallemanne) выше нормы у убийц, оказался наоборот ниже нормы по Ферри и Бенедикту», он был равным нормальному по Манувриэ, а по мнению Топинарда, случайно совпадающему в этом случае с мнением Ломброзо, он был одновременно и ниже, и выше нормы. «У преступников, – говорит он, – нет других отличий в черепе от нормальных людей (после проверки многих ошибочных измерений и сравнений), кроме известного количества черепов чрезмерной величины (что могло бы быть объяснено гипертрофией мозга, этим источником безумия, преступности или гениальности), а также некоторого количества черепов, слишком небольших по объему».

«Вследствие этого, – прибавляет он, – существуют, по крайней мере, два преступных типа с этой точки зрения, но никак не один».

В общем, мозговая локализация преступных наклонностей предполагается теперь там, где несколько ранее Брока предполагал мозговую локализацию всех умственных способностей. Анатомы хорошо выяснили связь тех или других недочетов мозга с известными болезнями, и число таких наблюдений все возрастало, не внося сюда никакого определенного освещения до тех пор, пока Брока не открыл совершенно ясную и точную связь между изменениями третьей лобной левой извилины и недостатками произношения. С тех пор все исследователи подтверждали эту связь; с того же времени краугольный камень изучения мозга был заложен, и этот частичный, но блестящий успех вдохновил всякие надежды. Если бы открытие, которое один ученый счел сделанным относительно известного деления на четыре части лобной доли (оно стало бы служить мозговым признаком убийцы), было действительно сделано, то криминальная антропология нашла бы своего Брока. Но несчастье в том, что это была чистейшая иллюзия. Тем не менее, верно, что даже до Брока достаточно было быть в курсе науки, чтобы удостоверить мозговую локализацию умственных способностей, не будучи в состоянии ее точно указать. Прибавим, что успехи или неудачи поисков зависят от руководящей ими идеи. Если бы наш знаменитый антрополог вместо того, чтобы искать местонахождение способности речи, то есть простого повседневного явления, тесно связанного с умственной жизнью человека и долженствующего поэтому иметь свое заметное место в мозгу, стал бы искать источник наглости, богохульства и всякого другого столь же случайного, сколь и сложного акта, произошедшего вследствие чрезмерного или недостаточного развития известных примитивных, скомбинированных вместе способностей, то, возможно, что он так и умер бы, ничего не отыскав. Это значит, что, несомненно, тщетно желание локализовать в мозгу преступление – деяние или способность очень сложную, в то время как гордость, эгоизм, симпатия, справедливость, жажда мщения и проч. – наклонности относительно простые, избыток или атрофия которых объясняет склонность к преступлению, не локализованы еще в мозгу. Но оставим психиатров.

Когда они начнут разбираться в области мозга, труд криминалистов значительно продвигнется вперед. Все, что можно сказать пока определенного, это то, что в общем черепа и мозги преступников дают пропорцию аномалий и асимметрий, значительно превосходящую среднюю, и, как говорит доктор Корр, «указывают на преобладание затылочной деятельности, в возможном соотношении с импульсивной чувствительностью над деятельностью лобной, признанной теперь вполне интеллектуальной и уравнивающей». Мало рефлексии и много активности – к этому сводится природа преступников, по мнению Бордье.

По отношению к росту и к весу согласия между антропологами не больше, чем по отношению к черепу. Ломброзо нашел преступников в среднем более тяжелыми и крупными, чем честных людей; Thompson, Virgilio и Lacassagne констатировали как раз обратное.

Ломброзо нашел, что длина обеих рук, распростертых в обе стороны, как при распятии, и измеренных от одной кисти до другой, чаще преобладает над ростом у преступников, чем у обыкновенных людей. Топинард оспаривает этот факт. Когда авторы берут те же данные, они расходятся в толковании их. Где один видит симптом безумия, другой замечает проявление атавизма; некоторые, среди которых я могу назвать Мануврие, Гопинарда, Ферри, отвергают и то, и другое объяснение, и я признаюсь, что присоединяюсь к мнению этих последних.

### **3. Всякий ли совершающий преступление сумасшедший?**

Прежде чем идти дальше, остановимся ненадолго на критике обеих гипотез, о которых идет речь. Есть сумасшедшие, совершающие преступления. Но всякий ли совершающий преступление сумасшедший? Нет. В предыдущей главе мы это уже мельком, как нам кажется, доказали. Если есть между ними аналогии, даже анатомические, то последних далеко не достаточно, чтобы позволительно было их смешивать. Например, из измерений, сделанных над 132 черепами убийц Гегером и Даллеманом, следует как будто бы, что у этих злодеев затылочная

часть мозга заметно более развита, чем у честных людей, и я был очень изумлен, увидав, что Rodrigues de la Torre<sup>4</sup>, предприняв подобные же измерения над 532 сумасшедшими в его лечебнице, констатировал чрезвычайное развитие их заднебоковых долей. Но в этом соотношении между преступлением и безумием нет ничего, что могло бы нас поразить, потому что и то, и другое представляет собой упадок человеческого типа; в нем нет тем более ничего такого, что должно было бы нас остановить.

Войдите в дом сумасшедших, что вы увидите?.. Возбужденных и меланхоликов, каждый из которых преследует свою мечту, праздных и не способных ни к какому труду, чуждых друг другу. Посетите тюрьму – вы увидите, что заключенные работают, гуляют группами, шепчутся между собой, признают авторитет какого-нибудь из товарищей – словом, здесь есть признаки человеческой массы, где начинает ферментироваться зерно общественности. Среди арестантов, говорит Достоевский, перебирая воспоминания своего заключения в Сибири, наиболее интеллигентные, наиболее энергичные имели нравственное влияние на своих товарищей. Заговоры затеваются и восстания вспыхивают в тюрьмах, но никогда не в убежищах для умалишенных. Сумасшедший непоследователен, преступник логичен.

Газин, один из товарищей Достоевского по несчастью, был, кажется, чем-то вроде Тропмана. «Он любил прежде резать маленьких детей единственно из удовольствия; заведет ребенка куда-нибудь в удобное место, сначала напугает его, измучит и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением».

Вот, скажут на это, характерный случай помешательства. Но Достоевский, наблюдатель и психолог величайшей проницательности, говорит, что никогда не замечал ничего ненормального в Газине, кроме тех случаев, когда он находился в состоянии опьянения. «В остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился, говорил очень мало... По глазам его было видно, что он неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое было всегда в лице его и в улыбке». Орлов, другой важный преступник, «был злодей, резавший хладнокровно стариков и детей; человек со страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Этот человек мог повелевать собой безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем мы видим одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предполагаемой цели».

Другими словами, Орлов воплощал в себе полную противоположность сумасшествия и вырождения, высочайшую степень устойчивого и оригинального тождества.

«После 18-летнего пребывания в тюрьмах и изучения преступников, – говорит Bruce Thomson, – я нахожу, что девять десятых среди них стоят ниже среднего уровня в отношении умственного развития, но что все они крайне хитры». Вот замечание, для которого посещения сумасшедших никогда не давали повода. Другое замечание того же автора: он заявляет, что никогда не знал ни одного преступника (что, впрочем, несколько преувеличено), одаренного хотя бы малейшим эстетическим талантом, способного набросать какой-нибудь эскиз, написать стихотворение или сделать искусно какую-нибудь вещь. Отличаются ли тем же сумасшедшие? Нет. «Известно, – говорит Maudsley, – что они зачастую обнаруживают замечательно тонкое чувство прекрасного, и что они обладают совершенно исключительными артистическими талантами и способностями».

---

<sup>4</sup> El craneo i locura (Череп и безумие). Буэнос-Айрес, 1888. Другая черта, кажется, гораздо более заметная у сумасшедших, нежели у преступников, если судить по атласу этого автора, это – асимметрия. Все 550 черепов, которые он начертил, асимметричны.

#### 4. Не дикарь ли преступник?

Если преступник не сумасшедший, если он не всегда дегенерат, то не дикарь ли он? Ни в каком случае<sup>5</sup>.

Правда, что черепа убийц часто, но не всегда носят отпечаток заметной грубости, в которой извинительно видеть иногда возвращение к гипотетической зверообразности наших отдаленных предков. Их особенности, по Мануврие, могут резюмироваться так: «Относительно слабое развитие лобной кости, слабое развитие верха черепа по сравнению с его основанием, чрезмерное развитие нижней челюсти по отношению к развитию черепа». Только в этом пункте и совпадают наблюдения. В 1841 году Lauergerne, ревностный последователь Галля, дал следующее объяснение хладнокровных убийц, редкого, по его словам, вида преступников, встречающегося обыкновенно в горных или глухих местностях. Они являются обладателями предательских выпуклостей и, в общем, на них лежит отпечаток преобладания животных и грубых инстинктов. Их головы велики и сверху сплюснуты. Они замечательны по своим боковым выступам<sup>6</sup>, вместе с ними заодно выдаются и широкие, массивные нижние челюсти, огромные жевательные мышцы, образующие выпуклости под кожей и находящиеся в постоянном движении. Но зачем для объяснения такого несложного результата понадобилось впутывать сюда атавизм и придумывать чудесное возрождение какого-то доисторического предка, отделенного от нас неизвестно каким количеством смешавшихся и скрестившихся рас, по очереди берущих верх друг над другом?

Неразвитый лоб, массивные челюсти – это значит просто, говорит Бордье, «мало рефлексии и много активности»; этот грубый тип часто встречается среди самого мирного, но отсталого и погруженного в тяжелые полевые работы населения, и естественно, что убийцы вербуются среди индивидуумов, отмеченных этим клеймом. Свидетельство Бордье тем более драгоценно, что ему первому пришла в голову идея, если верить его другу Топинарду, объяснить преступность атавизмом. «Он сравнил, – говорит последний, – черепа каеннских убийц с черепами из пещеры Мертвого человека, исследованными Брока, и нашел в них сходные черты».

Но что касается меня, то, ознакомившись с этими черепами, я должен признаться, что как по общему виду, так и при ближайшем изучении их трудно найти более несходные черепные кости.

Я хорошо знаю, что сторонники атавизма основывают предыдущие данные и на некоторых других соображениях, выведенных из таких явлений, как асимметрия черепа, более частая у преступников, чем в массе честных людей, бесформенное или оттопыренное ухо, известная форма носа, кое-какие особенности, свойственные каторжникам, каковы: татуировка, особый разговорный язык. «Но асимметрия, – отвечает Топинард, – правило, а не исключение даже для обыкновенных черепов».

Доктор Lannois в поучительной монографии о «человеческом ухе» утверждает, что у 43 исследованных им молодых преступников он констатировал не большее количество аномалий

---

<sup>5</sup> Ломброзо всегда настаивает на утверждении этого положения. В одном письме, адресованном Молешоту (см. *Revue scientifique*, 9 Juin 1888), он приводит для поддержки своей излюбленной идеи результат, добытый при помощи составных фотографий шести черепов убийц и шести черепов грабителей с больших дорог. «Эти две фотографии, – говорит он, – замечательно сходны между собой и показывают с очевидным подчеркиванием черты преступного человека и отчасти дикаря; лобные впадины очень значительны, скуловые и челюстные кости массивны, орбиты очень велики и очень отдалены друг от друга, асимметрия лица, птелеевидный тип носового отверстия». Очень хорошо; но эти черепа, говорят нам затем, были соединены потому, что составляли однородную группу. Нужно заметить, что шесть черепов мошенников и воров дали тип менее ярко выраженный, и что общая фотография, полученная от соединения в одно 19 черепов, представляет аномалии еще более неясные. Что было бы, если бы сфотографировать 100, 200 черепов за раз?

<sup>6</sup> Ломброзо часто отмечал брахицефалию у убийц; но особенность эта спорная и изменяется в зависимости от расы.

этого органа, «чем можно было бы найти их у такого же количества людей безупречной нравственности». И сам Марро соглашается, что оттопыренное ухо чаще встречается у турок, греков и мальтийцев, чем у варваров и суданских негров.

Нужно прибавить, что, добросовестно сравнивая между собой 529 преступников и сотню честных людей, Марро не был особенно удивлен, когда констатировал, что у этих последних аномалии атавистического или предполагаемого таковым происхождения, по крайней мере, настолько же часты, а иногда и чаще, чем у первых. Для покатога лба, признак, которому Ломброзо придает столько значения, «найденная пропорция составляла 4 % у честных людей, 3,1 % у преступников; для уха с Дарвиновским бугорком (выпуклость, служившая кончиком первобытного уха у животных) пропорция у первых составляла 7 %, у вторых около 1 %». Для лобных впадин пропорция у преступников выше, но очень немного; разница от 18 до 23; но для *torus occipitalis* нормальные вновь получают их оригинальное преимущество, которое выражается в отношении 9 к 4,7; то есть больше вдвое или около того.

Правда, что, по тому же автору, способность владеть обеими руками одинаково или владеть хорошо только левой (левши) – признаки, скорее, впрочем, атипические, чем атавистические – вдвое чаще встречаются у преступников, чем у «нормальных». Но эта разница может зависеть в большинстве случаев, по крайней мере, от разницы в воспитании. Гораздо чаще, чем вторые, первые были покинуты, предоставлены в детском возрасте самим себе и своим дурным привычкам. А известно, насколько бдительность внимательных родителей исправляет у детей природную склонность пользоваться левой рукой.

Носы преступников, по сравнению с носами честных людей и сумасшедших, были, правда, предметом специального и тщательного изучения в лаборатории Ломброзо. Отсюда вышла любопытная монография одного из его учеников, из содержания которой как будто вытекает, что многие анатомические аномалии (заметные лишь на скелетах) носового отверстия гораздо чаще встречаются у преступников, чем у честных людей той же страны и расы.

Следовательно, эти аномалии носили животный характер, по мнению автора, который, впрочем, в этом пункте, мне кажется, расходится с Топинардом. Но если допустить объяснение этого атавизмом, то следует, и в этом заключается немалое затруднение, отнести происхождение аномалий, о которых идет речь, гораздо выше, чем к низшим человеческим расам, выше даже, чем к обезьянам, и, как это настойчиво делает наш ученый, признать несправедливым мнение доктора Альбрехта, поставившего в своем забавном докладе на Римском конгрессе человека ниже обезьянообразных, в разряд насекомоядных. Прибавим еще, что если мертвый, отрубленный нос злодея ставит его так низко на лестнице животных, то его живой и целый нос ставит его в некоторых отношениях во главе человеческих рас: гораздо чаще, чем честные люди, по Огголенги, преступники обладают прямыми и длинными носами, что является выгодным признаком. Эти результаты слишком трудно согласовать, чтобы найти их достойными внимания. Что же касается наречия преступников, то оно ни в чем не напоминает того немногочисленного, что мы знаем о первобытных наречиях. Последние, по Тейлору, по преимуществу характеризуются обилием звукоподражательных слов и частым удваиванием при построении слова одних и тех же слогов – свойство совсем детское.

Слова *papa*, *bébé*, *popo*, *poupo* – обычные в устах наших детей и редкие в устах культурных людей, изобилуют в речи океанийцев и американских туземцев. Хотя некоторые воровские термины (*ty-ty-typographie*, *bibi-bicêtre*, *soso-ami*, etc.; *fric-frac* – освобождение из тюрьмы, выражающееся щелканьем замка etc.) подходят как будто к этому типу удвоения; но эти люди, свикшиеся с преступлением, лишь ради насмешки, из потребности все унижать и позорить говорят таким образом по примеру детей, но вовсе не по примеру краснокожих или неокаледонийцев.

Впрочем, каламбуры, скверные шутки, грязные уподобления, унижающие человека до животного (*cuir-peau*, *aileron-bras*, *bec-bouche*), составляют основу их словаря вместе с массой

слов, заимствованных из иностранных языков, из цыганского *salò*, арабского, итальянского, – признак, обнаруживающий наличие космополитизма без отечества. Но язык первобытных людей строг в своей детской простоте, поэтичен в своей живописности; у него свой собственный словарь, патриотический и оригинальный, и, кроме того, своя собственная грамматика. Он не меньше отличается от воровского жаргона, этого нароста наших наречий, чем дикая яблоня от ядовитого гриба.

Что же касается татуировки преступников, то я предлагаю сравнить гравюры атласа Ломброзо, где фигурируют несколько образчиков этих непристойных и бестолковых рисунков – забав преступников, рядом с прекрасными гравюрами, представляющими в «*Hommes fossiles et Hommes sauvages*» Quatrefages татуированных маори. С одной стороны, странные, но выразительные арабески, которые не маскируют, а оттеняют лицо и имеют целью дополнить его устрашающее действие на женщину и врага; украшение и оружие в одно и то же время, печать религии или племени на лбу дикаря, принадлежащего ему душой и телом и считающего за великую честь к нему принадлежать. У преступника – ничего подобного; чаще всего на предплечье, но никогда на лице, воспроизводятся девизы, циничные символы, женские профили, всевозможные вещи, предназначенные оставаться спрятанными и напоминающие карикатуры в ученической тетрадке школьника. Если бы эта постыдная татуировка была остатком или возвратом к обычаям первобытной дикости, она встречалась бы у преступных женщин чаще, чем у мужчин; потому что, как известно, именно среди женского пола предрассудки, обряды и украшения древних времен – серьги, например, – сохраняются еще долгое время после того, как их уже бросили носить мужчины. Но, наоборот, почти только мужчины-преступники пристрастны к татуировке. Древние жрецы разрубали когда-то на части трупы пленников или животных, предназначенных в жертву богам, чтобы поделить их, согласно требованиям обрядов; точно так же наши современные убийцы, зараженные одной из эпидемий преступления, составляющих далеко не самый ничтожный из аргументов в пользу социального происхождения преступления и преступника, решаются разрезать на куски свои жертвы, чтобы вернее спастись от розысков полиции. Можно ли сказать, что это преступное разрубание на куски ведет свое начало от ритуального разрубания трупов в древности, с которым оно имеет кажущееся сходство? Допускать такое происхождение нет ни большего, ни меньшего основания, чем приводить в связь татуировку преступников с воинственной татуировкой дикарей. Тэн пролил свет на некоторые черты каннибализма, проявившиеся в течение великих дней французской революции. Объясняются ли также атавизмом такие минутные заблуждения как антропофагия, царившая несколько дней на плоту «Медузы»<sup>7</sup>. Легко может быть, что какой-нибудь увлекшийся дарвинист дойдет и до этого. Fridgerio, один из самых знаменитых приверженцев новой итальянской школы, сообщал на Римском конгрессе о своем наблюдении над «нравственно помешанным, у которого в периодически повторяющемся припадке экзальтации внезапно изменялся характер, он становился спорщиком, надменным, сварливым, и в то же время его неудержимо влекло к лепке из глины массы оригинальных, особенной формы фигур, странность и неправдоподобие которых напоминали символические барельефы или другие бесформенные изваяния эпохи упадка». По мнению Бурнэ (Bourne), там есть формы, «до того напоминающие опыты первых христиан, что можно смешать их». Правда, Фриджеро, кажется, недалек от мысли, что наследственность на далеком расстоянии могла бы сыграть здесь некоторую роль. Если делаются такие предположения, то я вполне понимаю, что можно склониться и к принятию гипотезы Ломброзо по поводу занимающего нас вопроса. Но мне кажется бесконечно более простым и правдоподобным видеть в надписях и плохой живописи, которыми преступники

<sup>7</sup> «Медуза» – французский военный фрегат, потерпевший крушение у берегов Африки в начале XIX столетия. Спасшиеся люди несколько недель носились по волнам на сколоченном ими плоту, и голод вынудил их употреблять в пищу трупы умерших товарищей (Прим. пер.).

покрывают себе кожу, лишь следствие случайного соприкосновения с первобытным населением, потому что этот обычай наблюдается по преимуществу у преступников-матросов. Во всяком случае, может быть и обратное явление, и многие отсталые народы обязаны удовольствию воспроизводить эти нарезки на своей коже своим сношением с нашими цивилизованными моряками. «Татуировка – редкость у кохинхинских туземцев, – говорит доктор Logion, – те, кто носит эти рисунки, сделанные посредством впрыскивания всевозможных красок под кожу, жили среди европейцев. Чаще всего это были матросы, кочегары или домашняя прислуга на военных или коммерческих пароходах». Араб, гораздо более цивилизованный, чем кохинхинец, но имеющий больше сношений с европейцами, татуируется чаще, и часто характер воспроизведенного им рисунка ясно показывает, что он копирует наших соотечественников. Но мы слишком долго останавливаемся на этом второстепенном пункте.

Закончим последним соображением: если предположить, что уподобление преступника дикарю могло когда-нибудь иметь хотя бы малейшее основание, то оно каждый день теряет часть своего правдоподобия, по мере того как ряды преступников все меньше и меньше пополняются из отсталого населения деревень и все больше и больше вербуются из развращенной и рафинированной среды больших городов<sup>8</sup>.

## 5. Дегенерация и преступник

Если сумасшествие и атавизм (я не говорю наследственность) не играют роли в склонности к преступлению, то что же такое преступник? Скажем ли мы вместе с Ферри, что он дегенерат? Или с Ломброзо, в его последнем труде, что он эпилептик? Несколько слов будет достаточно по отношению к первому из этих положений, хотя и наиболее солидному. Второе задержит нас несколько дольше<sup>9</sup>.

Известно, что существует сходство между аномалиями, известными под названием стигматов вырождения: прогнатизм, косоглазие, асимметрия лица, деформация ушей и т. д., и чертами, по которым создавался предполагаемый преступный тип. Но предрасполагают ли эти стигматы, встречающиеся часто, но не непременно у дегенератов, к дурным поступкам тех, кто ими обладает? Ничуть<sup>10</sup>. Многие из слабоумных с такими симптомами вполне заслуживают названия «невинных» за их обычную безвредность. Наоборот, как признает это и сам Ферри, многие прирожденные преступники «замечательны по правильности своего физического строения», и доктор Магнап на последнем конгрессе криминальной антропологии указал на многих из них, которые могли бы служить великолепными моделями в ателье художников. Если же дегенерация, то есть общая неуравновешенность, вид физического расстройства,

---

<sup>8</sup> Коляяни в первом томе своей «Sociologia criminale», посвятив первую часть этого тома разрешению теории физического атавизма преступника и других теорий Ломброзо, с величайшей энергией, впрочем, посвящает вторую часть попытке доказать нравственный атавизм преступника. В этом заключается, очевидно, противоречие. Я подверг критике это положение в моем труде о нравственном атавизме (Atavisme moral. Archives d'Anthr. crim., mai, 1889), к которому я позволяю себе отослать читателя.

<sup>9</sup> Доктор Эмиль Лоран служил два года в центральной лечебнице парижских тюрем; он видел и исследовал там более 2000 заключенных, с которыми он находился в непрестанном общении. И в своей книге о заведомых тюрьмах (Habitudes des prisons. Strock, 1890) он утверждает, что антропометрические измерения чаще всего приводили его лишь к «противоречивым результатам». Он не заметил ничего, что подходило бы к какому-нибудь преступному типу. Но он заметил часто встречающиеся физические недостатки всех видов. Так же как и лечебницы, «тюрьмы изобилуют остроконечными и сплюснутыми черепами, приплюснутыми носами, вытянутыми челюстями», заиками, косоглазыми, хромоногими и т. д. «Нельзя сказать, что одна и та же деформация встречается неизменно, как мокрота при воспалении легких или альбумин при Брайтовой болезни. Все деформации всех органов могут встретиться у всех преступников – вот истина». Одна аномалия, очень редкая вообще, встречается у них относительно часто: «это преувеличенное и постоянное развитие грудных желез в период возмужалости». Это согласуется с мнением Ломброзо и других исследователей о большом сходстве обоих полов в преступном мире, выражается ли оно в том, что мужчины становятся женоподобными, или в том, что женщины начинают походить с виду на мужчин.

<sup>10</sup> Эти «стигматы», как указал Лакассань, тем не менее не означают «действительного или предполагаемого расстройства умственных способностей».

часто бывает связана с преступностью, по крайней мере, с преступностью по природной слабости, то причины этого неизвестны; что же касается преступности как следствия избытка энергии и смелости, то дегенерация так чужда ей, что является для нее, так сказать, противодействием. В настоящих и безусловных преступниках – Пранцини, Прадо, Лебиз – так мало признаков вырождения, как только это возможно. Можно ли сказать даже, что если к известному данному нравственному характеру, не склонному к преступлению, присоединяется предполагаемая дегенерация, то она склонит его к преступлению? Насколько позволительно рассуждать о недоступной для проверки, но допустимой гипотезе, следовало бы, кажется, ответить отрицательно. Не придавая общей статистике подобных явлений большего значения, чем она заслуживает, я был поражен одной таблицей, составленной Колаяни. Из нее следует, что среди итальянских провинций северные, где встречается максимум болезней и телесных недостатков, характеризующих дегенератов, и особенно дегенератов-алкоголиков, благодаря которым оправдывается самое удачное предположение Ферри, оказываются самыми нравственными; южные же, самые преступные, отличаются великолепным здоровьем населения. Дает ли во всяком случае это сравнение право заключать, что дегенерация служит лучшим условием для развития нравственности? Конечно, нет, и я вовсе не думаю, что такова идея Колаяни. Истина в том, что жестокая и дерзкая преступность малокультурных итальянских провинций исключает вследствие самого своего характера причастность к ней натур нервных и выродившихся, в то время как утонченная, отличающаяся коварством преступность более культурных провинций имеет своими агентами людей со слабой волей. Ферри делает относительно дегенератов замечание, которое не мешает запомнить. «Они легко подчиняются, – говорит он, – влиянию среды; они дают себя увлечь минутным чувствам и страстям и часто делаются слишком уж послушными их орудиями; они так же легко заражаются примером самоубийства, как и примером убийства». Вот где настоящая правда; отсюда следует, что дегенерация, когда она связана с преступлением, приводит к нему не потому, чтобы между нею и преступлением существовало как бы особого рода сродство или притяжение, но благодаря недостатку сопротивления преступному импульсу, приходящему извне.

## 6. Эпилепсия и преступник

Вопрос теперь заключается в том, чтобы узнать, не является ли случайно этот импульс следствием эпилептического темперамента. Остановимся некоторое время на этой гипотезе Ломброзо, насколько бы она ни казалась странной<sup>11</sup>. Он думает доказать, что каждый настоящий преступник – более или менее скрытый эпилептик. Преступность – это наиболее распространенная разновидность эпилепсии. Он рассматривает все виды преступников: преступников прирожденных или нравственно помешанных, преступников по страсти, преступников в припадке безумия, истерии, алкоголизма, даже случайных преступников и криминалоидов. У всех у них он открывает черты темперамента, характер для эпилептиков или эпилептоидов.

На первый взгляд такое злоупотребление обобщениями, несмотря на ограничения, которые автор вносит то здесь, то там, тотчас же о них забывая, не заслуживает внимания. Оно сразу наталкивается на громкий голос цифр. Доктор Марро из Турина, ученик Ломброзо и его соотечественник, во время составления своей прекрасной книги «I caratteri dei delinquenti» не мог пренебречь тем значением, которое приписывал тогда эпилепсии его учитель. Его внимание было устремлено на то, чтобы не пропустить ни малейших признаков этой болезни при

<sup>11</sup> По приведенным Ломброзо изысканиям Totini, численная пропорция обманщиков, воров, развратников всех категорий среди эпилептиков не подымается выше 4 или 5 на 100. (Она равнялась, правда, 63 на 100 по Civaldi.) Доктор Лоран в цитированном выше труде говорит, что встречал истерию гораздо чаще, чем эпилепсию, и притом последнюю довольно редко в прежней жизни преступников.

изучении тех, кто ей подвержен. Однако на 507 человек исследованных им преступников он нашел лишь 20 случаев эпилепсии.

Он прибавляет еще, что только один из этих 20 совершил проступок под непосредственным влиянием эпилептического припадка, обстоятельство действительно поразительное для тех, кто склонен считать эпилепсию специальным органическим свойством преступности. Еще лучше то, что пропорция эпилептиков в итальянских тюрьмах, как видно из статистических опытов того же автора, не выше 0,66 на 100; и сам Ломброзо признает, что она составляет лишь 5 %.

Опровергнуть идею, о которой идет речь, если принимать ее дословно, очень легко. Даже слишком легко; и трудно представить себе, что такой крупный ученый мог так обмануться благодаря поспешности суждения. И все-таки, не знаю почему, прочитав внимательно его труд, остаешься убежденным, что под амальгамой его наблюдений и предположений, как источник под обвалом, протекает глубокая идея. Он искал (и в этом заключается новая сторона его книги) общей объединяющей черты, даже общей центральной точки, скрытой или очевидной, для всевозможных форм преступности: он хотел близко связать друг с другом кровными узами холодную жестокость «породистого» убийцы, без страха и угрызений совести; закончившееся убийством исступление помешанного, который плачет, совершив преступление; губительную вспышку виновного в преступлении по страсти или в состоянии опьянения; несчастное заблуждение фанатика или маттоида; профессиональную рутину случайного вора, попавшегося в рецидиве; безнаказанное злодейство скрытого преступника, бандита – государственного чиновника, этого привилегированного представителя эпохи равенства, или придворного временщика, смотря по форме правления.

Следовательно, я думаю только, что он ошибся в определении характера этой тесной связи, но я все же думаю, что эта связь существует, и что есть доля истины в том физиологическом значении, которое Ломброзо приписывает преступлению наряду с юридическим значением. Что касается меня, то я могу признать это физиологическое значение, не встречая для этого, как будет видно дальше, никаких препятствий в моем прежде всего социологическом объяснении преступления. Я соглашаюсь с тем, что это печальное социальное явление имеет свои глубокие корни в мозгу. К такому заключению должен неизбежно привести нас прежде всего тот факт, на котором случайно настаивает и Ломброзо, но только исходя из другой точки зрения. Этот общеизвестный факт, состоящий в том, что определенные классические формы помешательства – монomanия убийства, kleптомания, пиромания, эротомания – соответствуют различным и постоянным формам преступления: убийству, воровству, поджигательству, изнасилованию, нисколько не доказывает общего происхождения преступления и безумия. Но, с другой стороны, он показывает, что преступное деяние, если рассматривать его с точки зрения его происхождения в мозгу, отличается от всякого другого действия, и что было бы вполне уместно допустить возможность, если не вероятность, его специальной локализации даже в том случае, если отвергнуть специальную локализацию всякого другого рода деятельности. Можно прийти в изумление, видя, что существуют формы сумасшествия, характеризующиеся непреодолимым влечением к убийству, воровству, насилию, разрушению, в то время как нет ни одной, которая характеризовалась бы главным образом стремлением трудиться, пахать, копать землю, ткать и т. д. Все это очень старинные занятия, постоянно увеличивающиеся в числе и в течение веков повторяемые бесконечным рядом поколений. Но, как кажется, этого продолжительного повторения не было достаточно для того, чтобы превратить желание исполнять эти действия в физиологические инстинкты, имеющие своим источником определенные центры в клеточках мозга. Так как относительно преступления дело обстоит, по-видимому, иначе, то очевидно, что преступление, несмотря на свою меньшую повторяемость, если не на меньшую давность, играет в человечестве роль, превосходящую по силе и по глубине впечатления обычные акты повседневной жизни. Именно потому, что оно всегда

является исключением, оно представляется уродством, живое сознание которого налагает свое клеймо на моральную природу человека и даже затрагивает его физическую природу. Оно разделяет эти привилегии с теми деяниями, которые, будучи грубыми и вполне обычными, тем не менее очень важны для организма: принятие возбуждающих средств (дипсомания), обжорство (известные формы истерии), половые излишества и т. д.

Но вернемся к эпилепсии. Я не последую за Ломброзо по всевозможным кругам Дантовского ада, куда он нас заводит. Чтобы дать представление о его методе, ограничимся краткой передачей его аргументации по отношению к нравственно помешанному – другими словами, прирожденному преступнику, с которым, по мнению нашего автора, помешанный почти совпадает. Нравственно помешанные, на его взгляд, походят на эпилептиков следующими чертами. То же замедление в установлении равновесия личности по сравнению с людьми нормальными. То же тщеславие. Та же склонность к противоречию и преувеличениям. Та же болезненная раздражительность, дурной характер, лунатизм, подозрительность. Та же страсть к непристойностям. (Случается, что coitus бывает похож на эпилептическую конвульсию, как порыв вдохновения на преступную жестокость. Вдохновение, особенно по своей мгновенности, интенсивности и постепенному ослабеванию памяти, имеет вид эпилепсии. Спрашивается, в чем же заключается суть эпилепсии, если понимать ее таким образом?) Та же физическая нечувствительность. (Заметим, что физическая нечувствительность преступников сельских, неграмотных, присуща им, как и всем представителям их класса; наоборот, нечувствительность городских цивилизованных преступников вымышлена<sup>12</sup>.) Тот же каннибализм: Cividali видел эпилептика, «откусившего носы трем своим товарищам». (Допустим это, но мы знаем, что в драках, после выпивки, среди крестьян нередко можно заметить, как один из дерущихся, менее всего на свете эпилептик, откусывает у другого часть носа или уха. Здесь может служить объяснением упорство диких привычек, ведущих свое происхождение от отдаленнейших предков. Но у эпилептиков припадки, о которых идет речь, имеют другое происхождение, что мы и увидим.) Та же склонность к самоубийству. То же стремление к объединению: в лечебницах эпилептики отличаются от других помешанных пристрастием к объединению, общим для них с обитателями тюрем. (Прибавим: и с честными людьми. Если эпилептик – существо общественное, то это просто потому, что он не сумасшедший<sup>13</sup>, что бы ни говорил об этом Ломброзо, так как сумасшествие по самой природе своей изолирует душу.)

Не возражайте на все эти более или менее искусственные уподобления указанием<sup>14</sup>, что, по крайней мере, два признака – периодичность припадков и постепенное ослабевание памяти – отличают эпилептика от прирожденного преступника. Вам ответят, что, по словам тюремных сторожей, в течение дня у преступников есть свой недобрый час, и что, по Достоевскому («Записки из мертвого дома»), приход весны возбуждает бродяжнические инстинкты у заклю-

<sup>12</sup> По приведенным Ломброзо изысканиям Totini, численная пропорция обманщиков, воров, развратников всех категорий среди эпилептиков не подымается выше 4 или 5 на 100. (Она равнялась, правда, 63 на 100 по Cividali.) Доктор Лоран в цитированном выше труде говорит, что встречал истерию гораздо чище, чем эпилепсию, и притом последнюю довольно редко в прежней жизни преступников.

<sup>13</sup> Я хочу сказать, что он не сумасшедший в периоды между припадками, несмотря на постоянный отпечаток, который кладет темперамент эпилептика на его характер. Что же касается припадков, то в них следует видеть лишь перемежающееся безумие, переходящую манию.

<sup>14</sup> Другая совершенно неожиданная аналогия между прирожденными преступниками и эпилептиками: у них одинаковая походка (она изучена по способу Gilles de la Tourelle), отличающаяся одними и теми же признаками от походки обыкновенных людей. В противоположность последним, нормальные индивидуумы, о которых идет речь, ходят, делая более крупные шаги левой ногой, чем правой; кроме того, тоже в противоположность нормальной походке, они уклоняются от прямой линии при хождении больше вправо, чем влево, и их левая нога, становясь на землю, образует с прямой линией более тупой угол, чем правая нога. Таковы три признака, по которым, согласно измерениям доктора Pettachia и самого Ломброзо, походка мошенников не менее, чем их поведение, противоположна походке честных людей и напоминает походку одержимых падучей болезнью. К несчастью, нам не сообщают, на скольких наблюдениях построены эти выводы, и вполне возможно, что какой-нибудь новый антрополог, возобновив изыскания д-ра Перракья, придет к совершенно противоположным результатам, что уже слишком часто случалось в уголовной антропологии.

ченных. (Мы увидим далее, что в психологии периодически все, а не одни только преступные наклонности.) Ломброзо и его коллега Fridgerio говорят, что им пришлось наблюдать, как в бурные дни, когда припадки эпилептиков становятся чаще, обитатели тюрем делаются опаснее, рвут свою одежду, ломают мебель, бьют своих надзирателей. В известных случаях, говорят нам еще, наблюдается вид преступного судорожного сотрясения, которое предшествует преступлению и заставляет его предчувствовать. Нам описывают молодого человека, «семья которого замечала, что он обдумывал воровство, когда продолжительное время держал рукой нос; привычка эта окончилась изуродованием формы его носа». Что касается затемнения памяти после преступной вспышки, то оно наблюдалось Blanchi у четырех нравственно помешанных, и известно также, что дети, преступные в период детства, легко забывают свои проступки. Но чего дети не забывают быстро – только ли дурных или также и хороших проступков?

Не следует забывать, что существует форма эпилепсии без конвульсий, выражающаяся в головокружении. Эта форма, по словам Эскироля, наиболее глубоко нарушающая равновесие, чаще, чем всякая другая, сопровождается наклонностями к преступлениям против половой нравственности, к убийству, мошенничеству, поджигательству у людей, до того времени честных. Каждый раз, когда у молодых преступников наблюдается известная перемежающаяся периодичность преступных импульсов, есть основание подозревать, что они эпилептичны. По словам Trousseau, когда индивидуум совершает убийство без мотива, можно утверждать, что он действовал под влиянием эпилепсии. Но эпилепсии ли или какого-нибудь другого невроза? Во всяком случае, эпилептик он или нет, совершитель убийства без мотива не мог бы в общем, кроме исключений, о которых будет речь впереди, считаться преступным. Есть, говорят, случаи, когда эпилепсия, долгое время остававшаяся скрытой, проявляется лишь после преступлений, несомненно, совершенных под каким-нибудь незаметным влиянием. Это верно и очень прискорбно; но это не доказывает ни того, что именно так бывает постоянно, ни того, что можно ошибаться, не различая вора, который крадет согласно требованию своего обычного основного характера, от вора, который крадет в силу своего болезненного и преходящего настроения, сообщенного ему его душевным расстройством. В первом случае субъект вменяем, во втором он невменяем. Когда, говорят нам еще, имеются полные сведения о родственниках преступников и эпилептиков, то можно заметить, что у их родителей и предков эпилепсия чередуется с преступностью. Но чередование и идентичность – две вещи разные. Безумие тоже часто чередуется с гениальностью в одной семье, и на небе ночь чередуется с днем.

Чтобы ясно определить сущность разногласия, которое, к моему величайшему сожалению, заставляет меня разойтись с Ломброзо, я приведу особенно дорогой для него пример известного Misdea. Здесь Ломброзо как будто бы торжествует, потому что действительно врожденная преступность и эпилепсия перепутаны в данном случае до того, что теряешь надежду их разделить. Но разобраться в них все же невозможно, если принять во внимание наши принципы относительно уголовной ответственности. В двух словах – Misdea был плохой итальянский солдат, плутоватый, злобный, жестокий, мелочный, ленивый, бесчувственный и к тому же эпилептик; в последнем припадке, вызванном ничтожным толчком самолюбия, он заперся в казармах и начал стрелять в своих товарищей, которых он подозревал в доносах на него. Нужна была правильная осада, чтобы его обезоружить. Следовательно, в нем, говорят нам, «бесчувственность, лень, тщеславие, жестокость, злоба, доходящая до канибализма, все те признаки, найденные нами в прирожденном преступнике и нравственно помешанном, усилены еще эпилепсией». Пускай усилены, но не созданы же. Не было ли у Misdea, независимо от эпилепсии, призвания к преступлению? И если предполагается, что этого призвания у него не было, то есть что он не был ни лентяем, ни гордецом, ни мстительным, ни жестоким, ни лжецом, то совершил ли бы он в припадке эпилепсии убийства, которые привели его на эшафот? Последний эпилептический припадок, которому он подвергся, дал только случай пробудиться его преступным наклонностям. И этот случай мог быть с таким же успехом, если еще не с боль-

шим, вызван известными социальными условиями или влиянием окружавших его негодяев: так, например, если бы было действительно нанесено серьезное оскорбление его гордости, и если бы бедственное положение довело его в один прекрасный день до роковой необходимости выбирать между трудом, противным его лени, и преступлением, которое легко допускала его нравственная нечувствительность. В последнем случае насколько более были бы достойны названия преступления все совершенные им убийства, хотя, быть может, и менее ужасные! Его характер, несмотря на совсем новое проявление, остался бы, по существу, неизменным, в то время как проявление его при посредстве эпилепсии было не только усилением его свойств, но отчасти и изменением их природы. Из негодяя эпилептический припадок сделал храбреца, грозного героя, который один выступает против целого полка. Отсюда обыкновенный Misdea становится отчасти морально безответственным за преступления, вмененные ему в вину, но которые, впрочем, были таковы, что его казнь во мне почти не вызывает жалости. Но предположим, что Misdea был в обыкновенное время трудолюбив, скромн, добр, правдив, великодушен; если случайно, но время припадка эпилепсии, он убил одного из своих товарищей, можно ли думать, что он был бы осужден? Он, наверное, был бы оправдан и помещен в какую-нибудь лечебницу.

Однако и при этом предположении убийство, совершенное им, могло мотивироваться оскорблением самолюбия. Достаточно предположить, что изменение его природы произошло на почве скромности, внезапно перешедшей в болезненное тщеславие, подобно тому, как на самом деле оно произошло на почве трусости, превратившейся в отвагу. Ломброзо как будто думает, что если акту насилия или мошенничества, совершенному эпилептиком или помешанным, предшествовал какой-нибудь мотив, как бы ни было велико расстояние между незначительностью мотива и серьезностью деяния или, еще лучше, между минутным и случайным настроением, выразившимся в мотиве, и настроением обычным, постоянным для данного лица, все же невозможно было бы основательно отличить деяние, совершенное таким образом, от аналогичного деяния, совершенного несомненным преступником. Но это – заблуждение. Не существует, быть может, ни одного убийства, совершенного сумасшедшим в момент маниакального возбуждения, которое не имело бы своей причиной какой-нибудь страсти, охватившей в эту минуту помешанного. Если принять во внимание интенсивность этой страсти (супружеской ревности или иступления, вызванного жаждой мести), то видно будет, что чаще всего существует пропорция между мотивом (воображаемым) и деянием. Но этой пропорциональности недостаточно для доказательства преступности его совершителя. С другой стороны, даже при очень большой или, по крайней мере, кажущейся таковой несоразмерности между убийством и обстоятельствами, которые его обуславливали, убийца не перестает быть вполне ответственным. Таков негус Абиссинии, король Дагомеи, который, видя, что один из его подданных не достаточно быстро распростерся на земле, когда он проходил мимо него, пришел в ярость и отсек ему голову ударом сабли. Но в отличие от Misdea, этот коронованный бандит несколько не изменяет своему характеру, совершая такое жестокое мщение за такую ничтожную обиду. Его моральная ответственность, на наш взгляд, тоже должна быть полной, если не принимать во внимание, что, опьяненный своим всемогуществом, он легко мог сделаться жертвой своего рода хронического *delirium tremens*. Но многие из городских и сельских разбойников, цивилизованных и некультурных, которые не могут сослаться на то же извинение, приходят также после долгого поприща убийств из корысти и мести к убийствам человека из-за прибыли в несколько сантимов, или за простую обиду, или даже, очень редко, единственно из удовольствия убить. И хотя преступление может считаться здесь совершенным без повода или без достаточного повода, виновность его совершителя этим несколько не уменьшается, потому что с течением времени жажда крови ради крови у убийцы, как жажда денег ради денег у скряги, является не аномалией, не симптомом помешательства на этом, но, наоборот, выра-

жением и плодом самой их природы, которую они сами понемногу пересоздали превращением их желаний в привычку.

Ломброзо напрасно так сильно затрудняет себя, стараясь найти признаки эпилепсии даже в случайном преступнике. Но, впрочем, охотно соглашаюсь с ним в том, что напрасно было рыть бездну между случайным и привычным преступником. Несчастье в том, что случай является всегда отправным пунктом привычки. Только случай действует лишь вследствие встречи с каким-нибудь внутренним свойством субъекта, свойством, появившимся благодаря наследственности, воспитанию или комбинации того и другого, но во всяком случае благодаря прямому или косвенному воздействию социальной среды, в которой постоянно вращались как предки индивида, так и он сам. Будем различать, если угодно, преступников наследственных и преступников, ставших таковыми вследствие воспитания. Но в последнем случае, то есть когда внутренние условия преступления являются плодом не наследственности по преимуществу, но подражания во всех его видах, что остается здесь делать эпилепсии?

Сам Ломброзо рассказывает нам о шайке убийц, составленной из 10 человек братьев и сестер; только одна из сестер, самая младшая (во что обращается здесь детская преступность?), отказывалась воровать и проливать кровь; но, вынужденная насильно следовать за своими родственниками, она со временем сделалась самой жестокой из них. Была ли она эпилептичкой? Этого он нам не сообщает.

Я думаю, мы можем утверждать, что он не доказал своего положения. Но, читая его, чувствуется, что он близок к какой-то истине. Я не имею претензии раскрыть ее с полной очевидностью. Однако мне кажется, что она проглядывает то здесь, то там. Намек на нее дали заключительные слова автора о сущности эпилепсии. Ему, говоря правду, давно пора было объясниться по этому поводу. Он соглашается с определением эпилепсии, данным Вентури (Venturi) и не лишенным ни глубины, ни, в особенности, ширины. Эпилептический темперамент, согласно Вентури, – просто темперамент крайностей, во всем склонный к преувеличениям, как в дурном, так и в хорошем: «Движениям, ощущениям, эмоциям, покраснению, слезам, суждениям нормального человека соответствуют конвульсии, галлюцинации, возбуждение, гнев, ярость, прилив крови, пена у рта, исступление эпилептика; и здесь, и там – та же нервная жизнь, более или менее сильно выраженная». Эта точка зрения допустима, если понаблюдать вместе с тем же автором, как у самых здоровых субъектов неожиданное и сильное возбуждение может дать место проявлениям гнева, страха, ревности, эротизма, довольно сходных с припадками эпилепсии и имеющих тенденцию, как и эти последние, вновь проявляться позднее самопроизвольно при благоприятных условиях. Как это верно! Кто из нас не испытывал в течение своей жизни какого-нибудь из этих сильных сердечных потрясений, этих настоящих восстаний, мотивированных при первом появлении, но позднее возрождающихся самопроизвольно, под самым незначительным предлогом, точно отпечаток их в промежутке между их проявлениями продолжал жить в нас. Смирная лошадь, испугавшаяся тени или камня в сумерках, встает с тех пор время от времени на дыбы в тот же час перед воображаемым призраком. Можно ли сказать, что с этого дня она начала страдать одним из видов эпилепсии? В таком случае припадок какой-нибудь страсти, фиксированный на определенном клише мозга, был бы началом эпилепсии. Эпилепсия в этом смысле была бы в своем роде лишь стереотипной страстью.

Таким образом, мне нет надобности указывать, что даже в таком смысле понимаемая эпилепсия недостаточно объясняет преступление, потому что она с таким же успехом объясняет и его противоположность, и во всяком случае она, очевидно, могла бы быть как социальным, так и биологическим объяснением. Можно также сказать, что, расширяясь в этом пункте, круг эпилепсии совсем видоизменился. В ней, тем не менее, есть существенная и многозначная особенность, которую следует принять во внимание: перемежаемость или периодичность. Без эпилепсии в собственном смысле значение этого признака, хотя и общего всем психическим

явлениям, но в ней заметного более, чем в каком бы то ни было другом, могло бы ускользнуть от нашего внимания. Но благодаря ей мы можем узнать, что в нас есть много невидимых колес, готовых прийти в движение без нашего ведома, чтобы периодически ослаблять какую-нибудь страшную пружину, и таким образом заставить вспыхнуть одну из тех взрывчатых субстанций, которые мы носим в себе, сами того не зная. Эти бесчисленные и непрерывные вращения, из которых составляется бессознательная жизнь наших воспоминаний, наших желаний, наших скрытых чувств, продолжающееся повторение всего, что однажды вошло в нас путем случайного впечатления, – совершаются внутри наших мозговых клеток. Именно благодаря этим бесконечным вращениям, умножающимся и запутанным, внутри нас происходят иногда процессы, результатом которых бывает проявление неожиданных актов смелости или развращенности, черты безумия или гениальности, удивительные для нас самих; точно так же благодаря сложному тяготению светил происходит их соединение, а за ними следуют затмения или моменты величественного сияния. Все периодически во мне, безразлично, нормален я или нет; и не одни только болезненные идеи и желания способны повторяться в нас, без нашего вызова, но вообще и все идеи и желания, находящие в нас наиболее благоприятные условия для своего развития и наиболее глубоко укореняющиеся в нас. Как бы благоразумны и свободны от всякого невроза мы ни были, мы не можем помешать себе тяготеть к эллипсису мыслей, деяний и эмоций, возобновляющихся в одни и те же дни и времена года при аналогичных обстоятельствах. Острая захватывающая грусть, всегда одинаково и неизменно вызываемая в душе многих людей возвращением весны и заставляющая их забросить всякое дело, имеет своим источником любовные огорчения их первой юности, забытые и неясно воскресающие под аккомпанемент других обманчивых воспоминаний, гармонирующих с этой нотой и тембром этого звука. Это образует какой-то концерт сердца, что-то вроде жалобной и раздирающей внутренней шарманки, которую невозможно остановить. Известные предрасположения к радости без видимых причин, продолжающиеся неделями, объясняются смутным возрождением прошлого счастья. Но у несчастных людей, перенесших большие лишения, унижения и дурное обращение с ними в детстве или юности, есть дни, когда ропщут в них глухой необъяснимый гнев, смутная потребность ненависти и мести, завистливая жадность. И если в такие моменты кто-нибудь оскорбит их или соблазнит их какая-нибудь добыча, то убийство, поджог и воровство могут быть следствиями этого фатального совпадения. И затем, раз преступление совершено, настанут дни и месяцы, когда неизвестно почему к ним будет возвращаться что-то вроде неопределенного и неутолимого преступного аппетита; и это потому, что преступление отпечатывается на характере, и как нет ощущения более сильного, чем то, которое им вызывается, так нет и такого, которое фиксировалось бы на клише мозга более глубоко.

Но именно потому, что периодичность, о которой идет речь, распространяется на весь круг нашей сознательной и бессознательной жизни, недостаточно ее только констатировать, найти ее там, где она заметна меньше, по аналогии с явлениями, в которых она заметна больше, чтобы иметь право считать индивида неответственным за то, что появляется и вспыхивает в нем самопроизвольно. Здесь нужно установить некоторые различия. Чаще всего эллипсис воспоминаний или привычек, о которых я только что говорил, – действительно наш, потому что он начертался по нашему согласию или по нашей собственной воле, или потому что он представляет собой увековечение и внутреннюю ассимиляцию случайностей, которые стали для нас постоянными, следов, составляющих часть нашего я; как и кривая, описываемая планетами, этот эллипсис заставляет нас переживать состояния, лишь немногим отличающиеся одно от другого, по крайней мере не явно противоречивые. Наоборот, неправильный эллипсис, куда бросает нас безумие, как планеты, переброшенные из величайшей жары в величайший холод и *vice versa*, спутывает наш разум и уродует нас каждую минуту. Скажут, что между этими двумя крайними состояниями есть много промежуточных. Да, несомненно. Но их меньше, чем думают; планеты в общем довольно точно отличены от комет, и если были в прошлом сме-

шанные небесные тела, то теперь они исчезли; граница, за которой начинается безумие, что бы ни говорили, представляет собой пояс весьма незначительной ширины, а полубезумие есть состояние неустойчивого равновесия, которое никогда не продолжается долго. В душе, как и в обществе, совсем не существует середины между порядком и беспорядком. То, что называется порядком в индивидуальной или социальной жизни, есть не что иное, как гармоническое соответствие идей и периодических деяний, при наименьшем числе периодов конфликта. Это и есть состояние социального тождества. Но когда начинают учащаться периоды взрывов, когда ткань, которую образуют периоды труда, промышленности, господства справедливости, здоровья, душевного равновесия, разрывается от этих взрывов, то наступают беспорядок или помешательство, анархия или эпилепсия. И переход от одного из этих состояний к другому в общем всегда короток.

Известный порядок, действительно, может отлично проскальзывать в конце концов даже и в беспорядке, но он подчиняется последнему и только еще сильнее его подчеркивает. Например, нужно заметить, что повторение болезненных припадков, вначале неправильных, стремится регулироваться. У алкоголиков, в которых укоренился их порок, возвраты аффектированного возбуждения принимают, говорит Vétault, «правильную периодичность»<sup>15</sup>.

То же самое у дипсоманов. Один из пьяниц, описываемый тем же ученым, каждый раз, когда сильно напивался, машинально повторял одно и то же преступление: он захватывал лошадь и карету, на минуту оставленные их собственником.

Другие следствия вытекают из нижеследующих соображений. Наследственное повторение интеллектуальных и моральных качеств, которыми обладали предки индивида, входят как особый случай в общую периодичность психологических действий. В этом случае период переходит за пределы человеческой жизни и распространяется на несколько поколений. Самопроизвольно, как припадок эпилепсии в спокойной душе, появляется в честной семье порочная или развратная натура. Труд – повторение тех же действий и идей через самые короткие промежутки времени; привычка в собственном смысле слова, воспоминание и инстинкт – повторение действий и идей через промежутки уже большие; наконец, наследственность и атавизм – повторение стремлений к известным действиям и известным идеям через очень значительный промежуток времени – вот где так много концентрических волн, которые идут, распространяясь и смешиваясь, набегают одна на другую. Прибавим, что к этим разнообразным формам подражания самому себе, рабского и невольного подражания органической жизни, присоединяются все высшие формы подражания окружающим, свободного подражания, разлитого в огромном социальном мире. Но в центре всех этих коловращений главным двигателем всегда бывает воля, которую общество вдохновило своей целью. По всем дорогам идут к этому источнику преступлений.

## 7. Анатомические признаки преступника

Если группа преступников, настолько же пестрая, насколько и многочисленная, настолько изменчивая, насколько и постоянная, не соединена никакой действительно органической связью, если не существует между ними ни того патологического родства, которое бы установило одну общую форму вырождения или умственного расстройства, ни одних и тех же болезней, которым они все были бы подвержены, ни того физиологического родства, которое указывало бы на их общее сходство с предполагаемыми предками, то какова же природа объединяющей их связи, дающей им часто особую физиономию, которую легче уловить, чем формулировать? На наш взгляд, это связь чисто социальная, интимное соотношение, замечаемое между людьми, занятыми одним и тем же ремеслом или ремеслами одного рода; этой

---

<sup>15</sup> См. труд этого автора «Alcoholisme».

гипотезы достаточно, чтобы объяснить даже анатомические и тем более физиологические и психологические особенности, отмечающие преступников. Поговорим сначала о первых. Мы говорили раньше, почему всякая профессия, доступная для всех или ограниченная кастой – безразлично, постепенно подбирает своих членов из среды людей, наиболее богато одаренных и соответствующих ее требованиям, и развивает у них путем наследственной передачи таланты и физические особенности, предпочтительные с точки зрения данной профессии. То же самое наблюдается не только во всякой профессии, но в каждом классе, в каждой социальной категории, которые более или менее ясно определились. Например, серия черепов так называемых *hommes distingués* (здесь разумеется выбор из общего числа либеральных профессий) отличается, по Манувриэ, относительно небольшим развитием лицевых костей, прекрасно развитыми лбами и в особенности кубической вместимостью, значительно превосходящей среднюю<sup>16</sup>.

Если войти в подробности, изучая в отдельности артистов, ученых, философов и инженеров, то, разумеется, это даст в конце концов возможность начертать типический и достаточно характерный портрет каждой из этих групп. Вероятнее всего также, что он легко мог бы быть более определенным и менее сомнительным, чем знаменитый «преступный тип». Действительно, из всех профессий преступная реже всего бывает такой, которой занимаются по свободному выбору, и в ней, кроме того, вследствие быстрого вымирания порочных семей наследственная передача способностей имеет меньше времени для проявления. На эту профессию люди бывают обыкновенно обречены с детства; большинство убийц и грабителей были сначала заброшенными детьми, и настоящий рассадник преступления нужно искать на каждой площади или перекрестке наших больших и малых городов, в этих шайках хищных уличных мальчишек, которые, как стаи воробьев, собираются сначала для мародерства, потом для воровства, вследствие недостатка воспитания и хлеба у себя дома<sup>17</sup>.

Влияние товарищей часто решало их участь помимо природного предрасположения их к преступлению. В то же время есть и такие, которых к дилемме преступления или смерти привела фатальная логика их пороков. О первых можно в общем сказать то, что предпочтение, оказываемое ими примеру небольшого числа негодяев перед примером подавляющего большинства тружеников, указывает на некоторую аномалию их природы; хотя можно было бы ответить, что подражание подчиняется тому же закону, что и притяжение, то есть что его сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. Поэтому понятно, что самый нормальный ребенок скорее увлечется примером десятка окружающих его развращенных товарищей, чем примером миллионов неизвестных ему сограждан. Несмотря на все это, несомненно, что преуспевание на поприще убийства или воровства предполагает обыкновенно истинное призвание, которое привычный глаз более или менее ясно определяет. Так, Топинард и Манувриэ, каждый вполне самостоятельно, пришли к тому заключению, что преступники образуют одну из тех «профессиональных категорий», о которых шла речь.

Таким образом объясняется, почему, несмотря на неуспех попыток, производившихся до сих пор с целью объять необъятное, чтобы научно доказать справедливость ощущения, часто вызываемого видом преступника, все-таки является неоспоримым существование того особого чутья, которое дает возможность опытному сыщику и проницательному исследователю обнаружить наличность преступных наклонностей в человеке с так называемой «*mauvaise mine*». Френология не дала ничего, но были френологи, которые нередко отличались поразитель-

<sup>16</sup> Всех очень удивило то, что в Англии духовенство отличалось значительно превосходящей среднюю пропорцией мужских рождений. Бертильон вывел отсюда, что всякая профессия дает различную, и для каждой постоянную, пропорцию мужских рождений по сравнению с женскими. Если принять во внимание то, что акт рождения есть как бы слияние и результат всех органических действий, то в предшествовавшем наблюдении легко видеть основание для предположения, что всякое ремесло имеет свою физиологическую, также как и анатомическую, характеристику.

<sup>17</sup> «Большинство воров, – говорит Lauvergne, – были детьми улиц, брошенными сыновьями неимущего отца или проститутки». Интересные подробности относительно этих шаек скороспелых преступников есть у Maestre (*Criminalidad in Barcelona*, 1886), одного из наиболее компетентных испанских судей. Мы изложим их вкратце далее.

тельной проницательностью. Lauvergne указывает на несколько подобных диагнозов в своей книге «Les Forçats». Физиогномика тоже дала немного; но со времени Лафатера всегда существовали физиономисты. Что останется лет через десять от графологии, которая стала теперь довольно модной? Я не знаю этого. Но, наверное, долго еще будут существовать графологи, которые семь или восемь раз из десяти по виду почерка угадают характер «пишущего». Итак, меньше всего на свете желая унизить уголовную антропологию этим сопоставлением, я позволяю себе прибавить, что если в один прекрасный день ей суждено погибнуть, то уголовные антропологи переживут ее и долго еще будут при случае доказывать свою проницательность. Впрочем, перечисление стольких последовательных неудач не включает в себе ничего для нее обескураживающего; сколько раз в науке и других областях приходилось видеть, что упорство перед последовательными поражениями свидетельствовало о силе и прочности известных поражений и пророчило им в будущем триумф.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.